

**Дмитрий Васильевич Григорович**

# **Рыбаки**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
Д53

Д53 **Дмитрий Васильевич Григорович**  
Рыбаки / Дмитрий Васильевич Григорович – М.: Книга по Требованию, 2012. –  
250 с.

**ISBN 978-5-458-03629-0**

Дмитрий Васильевич Григорович (1822-1899) вошел в историю русской литературы и получил широкую известность за границей прежде всего как автор повестей "Деревня" и "Антон-Горемыка", затронувших основной социальный вопрос эпохи — безвыходно тяжелое положение крепостного крестьянства России.

**ISBN 978-5-458-03629-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Дмитрий Васильевич  
Григорович  
Рыбаки  
(Роман из простонародного  
быта)



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

# I

## Два пешехода

Северная часть Тульской губернии, которая, как известно, отделяется от уездов Московской губернии широкою лентою Оки, может назваться одною из самых живописных местностей средней России. Она подымается крутым хребтом у самой реки и представляет нескончаемую перспективу зеленеющих выпуклых холмов, долин и обрывов, которые с одной стороны смотрятся в Оку, с другой - убегают, постепенно смягчаясь, во внутренность земель. Тут на протяжении нескольких верст не встречаешь иногда гладкой, ровной десятины: холмы идут за холмами, образуя бесчисленное множество изгибов и лощин, на дне которых журчат ручьи, иногда даже маленькие речки вроде Смедвы. На каждом шагу открываются новые ландшафты; глаза не утомляются скучным однообразием степи. Но зато дороги (как и следует, впрочем, ожидать) решительно здесь непроходимы. Этому столько же способствует почва и расположение самой местности, сколько частое сообщение между деревнями и рекою, близость которой всегда оживляет окрестность. Каждый путник, каждая кляча, соображаясь с естественными препятствиями и руководимые своим собственным соображением и опытом, проводят здесь свою тропинку. Кроме того, каждое время года обозначает еще свой путь: где по весне проходила дорога, там к лету образовался овраг, - и наоборот: где был овраг, там благодаря осеннему наносу ила открывалась ровная поверхность. Местами сосновый лес замыкает дорогу и так тесно сжимает ее, что нет ствола, на котором бы оси колес не провели царпины или не положили дегтярного знака; местами предстоит въезжать по самую ступицу в сыпучий песок или, что еще хуже, приходится объезжать на авось топкие места на дне лощин. Все это в совокупности составляет изрядный хаос, часто, впрочем, служащий преддверием наших больших рек с нагорной стороны.

В последних числах марта, в день самого Благовещения, на одной из таких дорог, ведущей из села Сосновки к Оке, можно было встретить оборванного старика, сопровождаемого таким же почти оборванным мальчиком. Время было раннее. Снежные холмистые скаты, обступившие дорогу, и темные сосновые леса, выглядывающие из-за холмов, только что озарились солнцем.

Со всем тем в воздухе начинала уже чувствоваться какая-то легкость, предвещавшая к полудню оттепель. Время полной распутицы еще не наступило; но не было уже никакой возможности ехать на санях: снег, подогреваемый сверху мартовским солнцем, снизу - отходившей землею, заметно осаживался; дорога не держала копыта лошадей; темно-бурый цвет резко уже отделил ее от полей, покрытых тонкою ледяною коркой, сквозь которую проламывались черные засохшие стебли прошлогодних растений. По мере того как солнце подымалось выше, небосклон со стороны Оки синел и покрывался туманом, верхней знаком скорой оттепели, по мнению местных пахарей и рыболовов. Скаты холмов, обращенные к югу, начинали желтеть и мокнуть; лощины наполнялись водою; кое-где даже показывалась земля, усеянная камнями. Этим, впрочем, и ограничивались признаки наступавшей весны: на проталинках не видно было покуда ни жаворонка, ни грача - первого возвестника тепла, первой хлебной

птицы; землей еще не пахло...

Безнадежное состояние сосновской дороги действовало различно на двух путешественников. Мальчик, бежавший в некотором расстоянии от старика, кричал, свистел, производил отчаянные скачки, умышленно заползал в лужи и радостно бил ногами в воде. Старик был не в духе. Он также приплясывал в лужах; но это приплясыванье выражало скорее явную досаду, нежели радость: каждый раз, как лаптишки старика уходили в воду (а это случалось беспрерывно), из груди его вырывались жалобные сетования, относившиеся, впрочем, более к мальчику, баловливость которого была единственной причиной, заставлявшей старика ускорять шаг и часто не смотреть под ноги. Но мальчик не обращал, по видимому, внимания на жалобные возгласы преклонного своего товарища; казалось, напротив, он еще усерднее принимался тогда шмыгать по лужам.

- Ах ты, окаянный! - кричал старик, и всякий раз с каким-то бессильным гневом, который походил скорее на жалобу, чем на угрозу. - Ах ты, шавель ты этакая! Ступай сюда, говорят!.. Пстой, погоди ж ты у меня! Ишь те!.. Пстой! Пстой, дай срок!.. Вишь, куда его носит!.. Эхва!.. Эхва, куда нелегкая носит!.. Чтоб те быки забодали... У-у... Ах ты, господи! Царица небесная! - заключал он, ударяя руками об полы прорванной сермяги.

Мальчик останавливался, устремлял на спутника пару черных лукавых глаз и, выкинув совершенно неожиданно новую какую-нибудь штуку, продолжал бежать вперед по дороге.

Видно было по всему, что он подтрунивал над стариком и ни во что не ставил его угрозы.

И в самом деле, жалкий, плаксивый вид старика ни в ком не мог пробуждать страха. Все существо его, казалось, насквозь проникнуто было вялостью и бессилием. Свойства эти не были, однако ж, следствием усталости или преклонности лет: три-четыре версты от Сосновки до того места, где мы застали его, никого не могли утомить; что ж касается до лет, ему было сорок пять, и уж никак не более пятидесяти - возраст, в котором наши простолюдины благодаря постоянной деятельности и простой, неприхотливой жизни сохраняют крепость и силу. Отсутствие энергии было еще заметнее на суетливом, худощавом лице старика: оно вечно как будто искало чего-то, вечно к чему-то приглядывалось; все линии шли как-то книзу, и решительно не было никакой возможности отыскать хотя одну резкую, положительно выразительную черту. Худенький нос совершенно неопределенного очертания печально свешивался над провалившимся полуоткрытым ртом, который, по привычке вероятно, сохранял такое выражение, как будто старик униженно что-нибудь выпрашивал; серенькие глазки постоянно шурились, как будто собирались плакать.

Явное намерение усилить по возможности свой и без того уже жалкий, плаксивый вид придавало всей наружности старика что-то полазчивое и униженное.

Дядя Аким (так звали его) принадлежал к числу тех людей, которые весь свой век плачут и жалуются, хотя сами не могут дать себе ясного отчета, на кого сетуют и о чем плачут. Если было существо, на которое следовало бы по настоящему жаловаться дяде Акиму, так это, уж конечно, на самого себя. История его заключается вся в нескольких строках: у Акима была когда-то своя собственная изба, лошади, коровы - словом, полное и хорошее хозяйство, доставшееся ему

после отца, зажиточного мужика, торговавшего скотом. Но не впрок пошло такое добро. Не привыкши сызмала ни к какой работе, избалованный матерью, вздорной, взбалмошной бабой, он так хорошо повел дела свои, что в два года стал беднейшим мужиком своей деревни. Крестьянину разориться нетрудно: прогуляй недели две во время пахоты да неделю в страдную, рабочую пору - и делу конец! Детей не было у Акима: после смерти матери он остался один с женою. Жена его, существо страдальческое, безгласное, бывши при жизни родителей единственной багтрачкой и ответчицей за мужа, не смела ему перечить; к тому же, как сама она говорила, и жизнь ей прискучила. Молча жила она, молча сошла и в могилу. Дела Акима пошли тогда еще плоше. Остался он наконец без крова и пристанища, или, как выразительно сказал его сосед, остался он крыт светом да обнесен ветром. Аким заплакал, застонал и заохал. До того времени он в ус не дул; обжигался день-деньской на печке, как словно и не чаял своего горя. Но убивайся не убивайся, а жить как-нибудь надо. Пошел Аким наниматься к соседям в работники. Но уживался он недолго на одном и том же месте. Этому не столько содействовала лень, сколько безалаберщина и какая-то странная мелочность его нрава. Требовалось ли починить телегу - он с готовностью принимался за работу, и стук его топора немолчно раздавался по двору битых два часа; в результате оказывалось, однако ж, что Аким искромсал на целые три подводы дерева, а дела все-таки никакого не сделал - запряг прямо, как говорится, да поехал криво! Хозяин поручает ему плетень заплести: ладно! Аким отправляется в болото, нарубает целый воз хворосту, возвращается домой, с песнями садится за работу, но вместо плетня выплетает настилку для подводы или верши для лова рыбы. В самонужную рабочую пору он забавляется изделием скворечниц или дудочек для ребятишек. Требуется ли исправить хомуты - он идет покрывать крышу; требуется ли покрывать крышу - он прочищает колодец. Но зато в разговоре, разговоре дельном, толковом, никто не мог сравниться с Акимом; послушать его: стоя едет, семерых везет! Шаль только, что слова его никогда не соответствовали делу: наговорил много, да толку мало - ни дать ни взять, как пузырь дождевой: вскочил - загремел, а лопнул - и стало ничего!

Раз нанялся он работником у одного смедовского мельника. Мельнику встретилась надобность отлучиться недели на две из дому. Накануне отъезда приводит он Акима к плотине и говорит ему:

- Смотри, - говорит, - вот в этом месте вода начинает подсачиваться; завтра же чем свет вали сюда землю и навоз. Долго ли до греха: нет-нет да и плотину промоет...

- Как не промыть! - говорит Аким рассудительным, деловым тоном. - Тут не только промоет - все снесет, пожалуй. Землей одной никак не удержишь - сила! Я, - говорит, - весь берег плитнячком выложу: оно будет надежнее. Какая земля! Здесь камень только в пору!

Но этим еще не довольствуется Аким: он ведет хозяина по всем закоулкам мельницы, указывает ему, где что плохо, не пропускает ни одной щели и все это обещает исправить в наилучшем виде. Обнадеженный и вполне довольный, мельник отправляется. Проходят две недели; возвращается хозяин. Подъезжая к дому, он не узнает его и глазам не верит: на макушке кровли красуется резной деревянный конь; над воротами торчит шест, а на шесте приделана скворечница; под окнами пестреет вычурная резьба...

- Ай да Аким! Вот нажил себе работника: мастак, нечего сказать! На все руки парень!

Но в это время глаза мельника устремляются на плотину - и он цепенеет от ужаса: плотины как не бывало; вода гуляет через все снасти... Вот тебе и мастак-работник, вот тебе и парень на все руки! Со всем тем, боже сохрани, если недовольный хозяин начнет упрекать Акима: Аким ничего, правда, не скажет в ответ, но уж зато с этой минуты бросает работу, ходит как словно обиженный, живет как вон глядит; там кочергу швырнет, здесь ногой пихнет, с хозяином и хозяйкой слова не молвит, да вдруг и перешел в другой дом.

В продолжение семи лет он столько переменял хозяев, что даже прозвища их не помнил.

Живал он в пастухах, нанимался сады караулить, нанимался на мельницах, на паромах, на фабриках, исходил почти все дома во всех приречных селах - и все-таки нигде не пристраивался.

Раз, однако ж, счастье как словно улыбнулось ему. Это произошло ровно за восемь лет до начала нашего рассказа. Аким случайно как-то встретился с одинокой вдовствующей солдаткой, проживавшей в собственном домку, на собственной земле; он нанялся у нее батраком и прожил без малого лет пять в ее доме. Не следует заключать из этого, что Аким взялся наконец за ум и решился сделаться деловым мужиком: ничуть не бывало! Он остался все тем же пустопорожним работником и ни на волос не изменил своего нрава. Еще менее следует отнестись такой факт к необыкновенной терпимости или сговорчивости солдатки. Новая хозяйка Акима была самая задорная, назойливая и беспокойная баба; по уверению соседок, она ела и "полоскала" своего работника с ранней утренней зари вплоть до поздних петухов. Несмотря на такое частое полосканье, Аким не думал, однако ж, расставаться с домом солдатки. Словоохотливые соседки утверждали, впрочем - положительно утверждали, что такое упорство со стороны Акима единственно происходило из привязанности его к сыну хозяйки, родившемуся будто бы год спустя после вступления батрака в дом солдатки. Не знаю, насколько верны такие доводы; положительно известно только, что привязанность Акима к ребенку была действительно замечательна. Он не выпускал его из рук, нянчился с ним как мамка; не было еще недели ребенку, как уже Аким на собственные деньги купил ему кучерскую шапку. Он, правда, немножко ошибся в расчете: шапка не только свободно входила на голову младенца, но даже покрывала его всего с головы до ног; но это обстоятельство нимало не мешало Акиму радоваться своей покупке и выхвалять ее встречному и поперечному. Бывало, день-деньской сидит он над мальчиком и дует ему над ухом в самодельную берестовую дудку или же возит его в тележке собственного изделия, которая имела свойство производить такой писк, что, как только Аким тронется с нею, бывало, по улице, все деревенские собаки словно взбесятся: вытянут шеи и начнут выть.

- Эх их подняло!.. Знать, Аким возит своего солдатенка! - говорят бабы.

Так прожил Аким пять лет, вплоть до той самой минуты, когда солдатка его отдала богу душу.

Последующая жизнь его была преисполнена горестей и неудач всякого рода. Если б кто-нибудь из окрестных мужиков нуждался в няньке, Аким мог бы еще как-нибудь пристроиться, но дело в том, что окрестным мужикам нужен был

только дюжий деловой батрак. К тому же в эти пять лет Аким окончательно уже обленился и стал негоден ни к какой работе. Поднял он себе на плечи сиротинку-мальчика и снова пошел стучаться под воротами, пошел толкаться из угла в угол; где недельку проживет, где две - а больше его и не держали; в деревне то же, что в городах, - никто себе не враг. "На тебе хлеба, да и бог с тобой!" С этого-то времени, понукаемый большею частью нуждою, и начал он набрасывать на себя жалкенький, плаксивый вид, имевший целью возбуждать сострадание ближних. Цель эта с каждым днем достигалась плоше и плоше. Жаловался он всем, да никто уже его не слушал!

Не далее как накануне того самого утра Благовещения, когда мы застали Акима на дороге, его почти выпроводили из Сосновки. Он домогался пасти сосновское стадо; но сколько ни охал, сколько ни плакал, сколько ни старался разжалобить своею бедностью и сиротством мальчика, пастухом его не приняли, а сказали, чтоб шел себе подобру-поздорову.

- Знаем мы, брат, каков ты есть, - говорили сосновцы, - не дают - просишь, дадут - бросишь. Такой уж ты человек уродился... Ступай с богом!

Поставленный этим отказом в самое крайнее, почти безвыходное положение, Аким решился прибегнуть к одной дальней родственнице по матери. Родственница была замужем за рыбаком, который жил на горной стороне Оки, верстах в семи или восьми от Сосновки. Не будь мальчика на руках у Акима, он ни за что не предпринял бы такого намерения: муж родственницы смолоду еще внушал ему непобедимый страх. Рыбак был человек деятельный, расторопный - крепкий был мужик, пустыми делами не занимался, любил работать, любил также, чтоб и люди не тормозили рук. Аким знал, что муж родственницы не больно его жалует: сколько раз даже рыбак гонял его от себя. Но, с другой стороны, дядя Аким знал также, что парнишка стал в сук расти, сильно балуется и что надо бы пристроить его к какому ни на есть рукомеслу. Вот это-то обстоятельство неволью подавляло в нем страх и заставило его направиться к Оке. Забота его заключалась теперь в том только, чтобы рыбак не отказал взять к себе парнишку. Сокрушаясь мыслями, которые, все без исключения, зарождались по поводу парнишки, дядя Аким не переставал, однако ж, кричать на мальчика и осыпать его угрозами.

- Ах ты, безмятежный, пострел ты этакой! - тянул он жалобным своим голосом. - Совести в тебе нет, разбойник!.. Вишь, как избаловался, и страху нет никакого!.. Эк его носит куда! - продолжал он, приостанавливаясь и следя даже с каким-то любопытством за ребенком, который бойко перепрыгивал с одного бугра на другой. - Вона! Вона! Вона!.. О-х, шустер! Куда шустер! Того и смотри, провалится еще, окаянный, в яму - и не вытащишь... Я тебя! О-о, погоди, погоди, стой, придем на место, я тебя! Все тогда припомню!

В ответ на это мальчик приподнял обеими руками высокую баранью шапку (ту самую, что Аким купил, когда ему минула неделя, и которая даже теперь падала на нос), подбросил ее на воздух и, не дав ей упасть на землю, швырнул ее носком сапога на дорогу.

- Ну вот, поди ж ты! А? - вымолвил дядя Аким с таким выражением, которое ясно показывало, что он скорее удивлялся выходке баловня, чем сердился на него. - Эй, Гришутка, стой! Стой! Не по той дороге пошел! Вернись назад, вернись, говорят! - подхватил немного погодя Аким, отчаянно размахивая оборванными руками, - вернись назад: не ходи, говорят; ступай сюда! Ну, так и есть, пошел

теперь по снегу шмыгать!.. Да ты обогни лучше дорогу-то, баловень ты этакой!.. Нет, дует себе по снегу, да и полно! Что ты станешь с ним делать? Ну, на то ли я тебе сапоги-то купил, а? - продолжал старик жалобным, плаксивым голосом. - На то ли сапожишки-то купил, чтобы ты шмыгал ими по лужам! Сам лаптишки обул - дырявые лаптишки, ему сапоги дал; а он... ах ты, безмятежный, разбойник ты этакой, пра, разбойник! - заключил он, сворачивая на едва заметную тропинку и суетливо преследуя мальчика, который продолжал бежать вперед, очевидно увлекаемый против воли непомерною тяжестью новых сапогов своих.

## II

### Утро Благовещения

Дорога, на которую свернул теперь дядя Аким вместе с мальчиком, служила в зимнее время единственным сообщением между домом рыбака, куда они направлялись, и Сосновкой. Так как сообщения с этой последней было вообще очень мало - рыбак сбывал по большей части свою добычу в Коломну или села, лежащие на луговой стороне Оки, - то наши путники принуждены были идти почти наобум. Единственною путеводною точкой служил старый дуб, черневшийся в отдалении, на обнаженном холме. Держась этого направления, Аким и непокорный вожак его достигли наконец подошвы горы, за которой располагалась Ока.

Солнце не успело еще обогнуть гору, и часть ее, обращенная к путешественникам, окутывалась тенью. Это обстоятельство значительно улучшало снежную дорогу: дядя Аким не замедлил приблизиться к вершине. С каждым шагом вперед выступала часть сияющего, неуловимо далекого горизонта... Еще шаг-другой, и дядя Аким очутился на хребте противоположного ската, круто спускавшегося к реке.

С этого места открывалось пространство, которому, казалось, конца не было: деревни, находившиеся верстах в двадцати за Окою, виднелись как на ладони; за ними синели сосновые леса, кой-где перерезанные снежными, блистающими линиями. Ближе тянулись озера: покрытые снегом наравне с лугами, но обозначившиеся серою каймою лесистых берегов своих, они принимали вид небольших продолговатых кругов; многие из них имели, однако ж, версты три в окружности. Столетние дубы, одиноко возвышавшиеся между озерами, мелькали как точки. Миллионы галок кружились отдельными стаями над лугами и озерами; крики их, пропадавшие в воздухе, еще сильнее давали чувствовать всю необъятность этого простора, облитого солнцем и пропадавшего в невидимом, слегка отуманенном горизонте.

Действие оттепели делалось особенно заметным по всему скату крутого берега, целиком обращенного к солнцу. Ручьи гремели со всех сторон; каждая колея и расселина обращались в поток, кативший мутную желтую воду к Оке, которая начинала уже синеть и отделялась земляною бахромою от снежных берегов своих. Кое-где чернели корни кустов, освобожденные от сугробов; теплые лучи солнца, пронизывая насквозь темную чашу сучьев, озаряли в их глубине свежие, глянцевитые прутики, как бы покрытые красным лаком; затверделый снег подтачивался водою, хрустел, изламывался и скатывался в пропасть: одним словом, все ясно уже говорило, что дуло с весны и зима миновала.

- Эге, овражки-то, овражки как разыгрались! Словно к Святой время пришло! - вымолвил Аким, прикладывая ладонь к глазам и озираясь на стороны, чтоб отыскать мальчика, который, присев на корточки подле потока, швырял в воду камни. - Опять задурил! Вона!.. Вона!.. Эхва! Ах ты, господи! Да угомонись ты хоть на время-то. Ну, куда те несет? А? Куда? А... а?... Ступай сюда, бесстыжий ты этакой!.. Куда опять побежал? Ступай сюда!.. Вон нам куда идти-то, вон куда! - промолвил старик, указывая левою рукой на подошву ската.